

ГЛЕБ АРСЕНЬЕВ. Из “Маргиналий”

Тяжесть веры тяжелее, чем тяжесть греха.
Оглянись на дом свой, ангел, оглянись на кьеркегоровский дом.

* * *

Дай, Боже, застенчивой и легкомысленной смерти!

* * *

Похороны — дело мужское. Женщины лишь обмывают покойников и плачут. Они терпимее к смерти, которую мужчины не принимают и не прощают.

* * *

Умирать лучше всего с книжкой в руках, внутри аэродинамической трубы чтения, в которой, расплываясь, становишься похотью чужого времени, иного пространства и пластилиновых людских судеб.

* * *

Перечитал Т. Уайлдера. “Мост” и “Мартовские иды” — это он, подлинный, не оглядывающийся на восьмой день, заранее размеченный любезным критикам социосмыслом. Зря он их слушал. Его сила в чуткости к трагической бессмыслице бытия и тайне, управляющей ею и смертью в середине взрыва человеческого просветления.

* * *

Сплю тяжело и чутко. Даже во сне не расстается со мной гомункулус обвиняющего — но в чем? — сознания.

* * *

Подожди, перевозчик. Подожди выдергивать плату-монетку из губ.

* * *

Жил и живу незнающим, но уверен: в раю — грустно.

* * *

Трагическая сложность нашего бытия заключается в мучительной трудности совмещения двух состояний: открытости миру и его осмысления-в-переживании внутри самого себя.

Их замыкание в круг, сливающий концы в начала — это и есть предельное счастье (предельное обретение смысла).

Я лишь подошел к нему. Но и за это спасибо, спасибо за спазмы удушья, когда вижу прирученную жизнь и смерть нашего домашнего зверья.

* * *

Пытаюсь понять, что радость — серьезное дело, а грусть — легкомысленна и весела.

* * *

Когда заставят вымереть последнее зверье — станет тошно в камерке у Великого Инквизитора. Нам не на кого будет оглянуться.

* * *

Судьба — это декабрь. Сутулый и желчный. С обмороженной улыбкой. Дека перевернутого контрабаса, чей гриф буравит пальцы, протаскивая сквозь них струны сосулук.

Судьба — это копоть на чайнике. Патлы пара. Голодный клекот проснувшейся воды, просящей взять ее на руки и накормить.

Судьба — это младенец, навсегда прижавшийся к игрушке. Бен Ган, притворяющийся Флинтотом.

* * *

Не заметил, а ведь давно вынесен приговор отыскивающих глаз. Они милостивы лишь к спящему, позволяя жить в паузе. Да и филеру она нужна для передышки и огласки дел.

Ежевика эти глаза или белобурые иглы испуганного ежа, перепутанная сухость веток ельника.

Наверное, их-то и отпевают в церкви копящие голоса свеч.

* * *

Душа — горка с трамплином, саночный след, взбирание к началу спуска. Душа — разноцветна, у нее покатые глаза и нос с горбинкой.

* * *

Скачут по траве к пруду Господа лягушки моих просьб. Пучеглазые, с горошиной выдоха и вдоха, перекатывающейся в горле. Замирают, пережидая испуг: тени прохожего и листьев березы обмахивают тропинку.

* * *

Снился закат, затопивший степь по уздечку коня, затонувшие души предков на родовом кладбище, сжавшийся в комок колокольный звон.

* * *

Моль приживается в каракулевых завитках шуб, среди меховых и шерстяных шарфов. По соседству с близорукими и зябкими.
От перетряхиванья и нафталина ей колко и холодно.
Молитва — это моль.

* * *

“Не все лжет и Гомер,” — сказал как-то Синесий.
До сих пор приятно слышать.

* * *

Бил по мухе, а убил паука-мамолетку. Прости меня, запечный царь насекомых.

* * *

Отчего никто не говорит, что монтаж демократии в России не удался из-за паскудности человеческого материала?
На себя оглядываются?

* * *

За преотличнейшее поведение и прилежный труд пора сократить срок Чичикову. Реабилитировать его купчие, не накладывать секвестр на мертвые души.

* * *

Все обещаю не опоздать на именины сердца и забываю о них. И что-то мямлю в ответ на упреки ангела-хранителя.

* * *

Одного боюсь: не заплакать бы перед смертью.

* * *

Во мне живет беспокойная личинка предчувствия, знающая о неминуемых перепадах; скоро изменится все — и люди, и выдуманный ими мир, и нерукотворная природа, в которой они прожили 20 веков. Лишь в музеях-заповедниках будут слушать песни Синатры, показывать чучела мадагаскарских лемуров и рассказывать о странных и старинных припадках любви.

* * *

Патриархи судеб и душ, рукоположите меня в блаженного полуночника.

* * *

“... и быть третья часть вод яко полынь...”, ибо упала звезда Аписифос. Был оскаленно-раскаленный пар. И в его воронке распадалась зыбучая плоть ангелов Господних — его мысли и прозрения.

Тот, кто никогда не лжет — воистину олимпийский дискобол. И метатель копья. И пращник. И пищальник, припаявший указательный палец к спусковому крючку, похожему (не мое сравнение — Сартра) на полуприкрытое веко.

Тот, кто никогда не лжет, распят на молчании. В нем и туф становится гиацинтом, и валун — гранатом, и “... воздух в маленькую птичку превращается от нетерпенья”, а полынь остается полынью.

* * *

Вспомнился Борис Климентьевич Пашков. Он пытался окунуть меня в маньчжуристику да не получалось. И сил у Б. К. оставалось на донышке, и маньчжурский он подзабыл, и азарта мыслительной охоты почти не осталось.

Понял через год: диссертации у Б. К. не напишу. Для меня маньчжуристика — в новинку, для него — пережитая побочность. Вдобавок сгорел его дом (по Ярославской. Думал, не забуду где, и забыл), уникальная библиотека — китайская и русская — и рукописи. И какие! Шмидта, его учителя. В одном экземпляре существовали на свете.

Вижу и сейчас: иду по пепелищу по обгорелым листьям и корешкам.

Квартиру — и большую — Б. К. получил на Лосиноостровской. Говорил, что соберет библиотеку (хоть и не всю) снова, а было ему тогда ой как за семьдесят.

О Б. К. почти забыли, а я до сих пор вижу: сидим на кухне, пьем чай — по-калмыцки — с маслом и мукой, перемежая глотки для пушного контраста солидными кусками селедки. Вижу его руки, усыпанные старческими веснушками, его ногти, изъеденные костоедом.

За полгода до смерти Б. К. подарил мне первый том трехязычного (китайско-тибетско-монгольского) словаря. Вдогонку к трем оттискам своих статей (самая интересная — о Ляо Чжае). Вдогонку к беседам и разговорам о науке и быте, рассчитанным на равнопартнерский тон общения. Если во мне есть хоть намек на этот тон — им я обязан Б. К.

* * *

С юности не любил “технику”. И она не любила и не слушалась меня. Сейчас — в компьютерно-виртуальном мире — стал окончательно архаичным. Но ведь поднимали церкви в сюздальско-владимирскую высь и без единого гвоздя.

Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – М.: МАКС-Пресс, 2000. – Вып. 13. – 84 с. ISBN 5-317-00037-8

* * *

Гнал от себя мысль о пределе, положенном траве и людям, зверям и птицам. Сейчас — отпустил ее на волю. Как Эзопа. Пусть он пишет басни о старости и смерти.

* * *

Над нами подрагивает, но не приоткрывается верхнее веко времени и пространств. И это навсегда.

* * *

Настоящая поэзия — это навязчивые видения алхимика.

* * *

Недымные свечи каштанов, соловьиные вальсы и чардаши в уцелевших близ дороги кустах акации, медленно сохнувшие тени луж.

Вот и дом слева, за уставшими нехотя оживать дубами.

Каждый вечер расстаюсь с ними вечным расставаньем. Его ужас и чуял Розанов.

* * *

“Слышишь, лают лайки, лайки Амундсена?” До сих пор слышно. И это сейчас — редкость.

1994-1998 гг.